
Владимир АЛЕЙНИКОВ

ВСПОМНЮ И ВОСПОЮ*

О, Петербург в декабре девяностого, с его бросавшимися тогда в глаза приметами запустения, разрушения, с осыпавшимися фасадами, с глухоманью и темнотой на безлюдных, запущенных стогнах, с чернотой невосковой воды, со сквозными полосками снега, с узким клином ледка под ногами, с фонарями вприглядку, с горящими исподволь окнами, город яви и снов, «где к зловещему дегтю подмешан желток», это был и ты, и не ты...

И радостной, и тяжелой была моя встреча с тобою.

Теперь, говорят, иной ты.

Наверно, хорош, как прежде.

Я рад за тебя, Петербург...

...А тогда я как можно скорее постарался уехать в Москву.

И впервые в жизни добирался в спальном вагоне — СВ, так его называют обычно. И объяснялось это тем, что в другие вагоны, подешевле, билетов просто не было. Пришлось купить — в СВ.

Приятно, конечно, ездить вот так. Двухместное купе. Чистота. Тишина. Уют, какой-никакой. Дорожный. Вежливая проводница. Отдых в пути. Покой.

...Но чекушка где же? — вы скажете.

Успокойтесь. Всему свое время.

Поезд шел. Поздний вечер едва успевал заглядывать в окна вагона — и отшатывался назад: скорость была немалой.

Мой сосед по купе, грузный, пожилой мужик с седыми, двумя длинными сосульками обвисающими вниз усами, был мрачноват, как-то маялся, вздыхал. Может, и с недопития.

Потом он решился.

Пошарил в портфеле. Вытащил что-то оттуда.

Владимир Дмитриевич Алейников — русский поэт, прозаик, переводчик, художник, родился в 1946 году в Перми. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Лауреат премии Андрея Белого, Международной отметины имени Давида Бурлюка, Бунинской премии, ряда журнальных премий. Книга «Пир» — лонг-лист премии Букера, книга «Голос и свет» — лонг-лист премии «Большая книга», книга «Тадзимас» — шорт-лист премии Дельвига и лонг-лист Бунинской премии. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик», «Перформанс». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого союза. Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Человек года (2010). Награжден двумя медалями и орденом. Живет в Москве и Коктебеле.

* Окончание. Начало: «Нева», 2021. № 5—7.

И в купе возникла — чекушка!

Словно на свет появилась.

Чистенькая. Целехонькая. Водки в ней — прямо по горлышко. Блеснула бочком стеклянным. И вот — на столе стоит.

И напомнила мне она в тот же миг о другой чекушке — восемнадцатилетней давности, что пригрезилась мне однажды ночью питерской — и явилась, вся в сиянье летних небес, как одно из прежних чудес.

— Может, выпьем? — спросил сосед.

И тогда я сказал:

— Не пью.

И время вместе с пространством в память вошло мою.

И все, что нужным считаю, — вспомню и воспою.

...И я вспоминаю свое чтение у Шушпанова.

Петя Шушпанов был человеком сугубо московским. Вроде бы. Потому что всем своим обликом он совершенно был не похож на традиционного, всем привычного москвича, во всяком случае такого, каким его каждый для себя по-своему представляет.

Мне, например, коренной москвич представлялся когда-то, в конце пятидесятых, в самом начале шестидесятых, еще до того времени, когда сам я поселился в столице, а только побывал там со школьными экскурсиями, человеком, прежде всего «акающим», ну и достаточно хватким, ловким, сообразительным, нахватавшимся того-сего, и знаний некоторых в области культуры, и технических знаний, и конкретного житейского опыта, то есть чувствовавшим себя уверенно и в театре, и в музее, и в очереди за продуктами, в общем-то, модно, хоть и по средствам, конечно, одетым, шагающим в людской толпе с портфелем, в котором лежал сложенный зонтик на случай дождя, в метро читавшим газету, бывавшим довольно часто в кафе, иногда — в ресторане, любителем бани и чешского пива, на язык не то чтобы острым, но бойким, это уж точно, на сто процентов уверенным в себе, непременно подчеркивавшим, что он, вообще-то, москвич, если ему приходилось бывать вдалеке от столицы, в командировке, допустим, или на юге, на отдыхе, и тем самым дававшим понять остальным свою избранность или же кастовость, словно на нем был проставлен нестираемый штамп: москвич.

Впрочем, вскоре мнение мое о москвичах несколько изменилось. Но немало в нем и осталось от прежнего представления о том, кто такой москвич.

Шушпанов тут был ни при чем.

И если уж рассуждать о его, Петинном, облике, то решительно, категорически ни при чем.

С виду Петя был человеком восточным. Типичным. Без всяких там скидок, натяжек и обобщений. Но это — на первый взгляд.

Если же присмотреться, то сразу же обнаруживались в нем приметы нетипичности, нестандартности, нешаблонности. И становилось ясным, что такой человек создан был природой в одном экземпляре. И этого экземпляра, уникального, неповторимого, для всех окружающих, оптом, для родственников, для друзей, для науки, для литературы, для юдольной жизни, для быта, для возвышенной жизни духовной, для столицы и для провинции, для всего человечества в целом, было вполне достаточно, даже более чем достаточно, то есть просто с лихвой хватало, — вот какой это был человек.

С крупным носом, пружинистый, жилистый, смуглый, черноволосый, цыганистый, с желваками на скулах упрямыми, ироничный, прямой, кареглазый, волевой, с характером, с гонором, временами непредсказуемый, образованный, умный, талантливый, был всегда он сам по себе.

И к тому же был он везде, — где бы ни был, куда бы его невеселая, право, судьба то и дело ни заносила, в передрягах любых, в компаниях выпивонных, на всех работах, где ему приходилось вкалывать и которых не перечесть, от историка до переводчика, от нефтяника до мясника, до тех пор, покуда, намаявшись, помотавшись по белу свету, он не стал хорошим писателем и таким же хорошим поэтом, — тем, кем только и мог он быть, то есть прежде всего и помимо всего был всегда он самим собою.

В Питере он оказался, потому что влюбился в даму с греческим носом. Встретил ее где-то на реке, на теплоходе — и сразу же, с первого взгляда, влюбился. И ринулся в Москву, и продал там отцовскую библиотеку, и с добытыми деньгами помчался вдогонку за своей любовью. И догнал ее. И женился на ней. И стал жить с нею в Питере, возле мечети.

В Москве он — все бросил. И жену, и детей, и работу, и квартиру, и дружбы, и связи, и возможности, и надежды, и карьеру — решительно все.

В Питере он работал переводчиком. С приезжими иностранцами. С этими интуристами, особенно с пьющими, бесконечно происходили всякие забавные истории. Кое о чем Петя с удовольствием рассказывал.

Договорились мы с ним однажды, что я у него в квартире почитаю свои стихи...

Но я решил о чтении этом не говорить сейчас.

Об этом — потом. Успеется.

Вместо этого — пусть останется в книге моей портрет славного Пети Шушпанова.

Было сказано им не случайно:

— Душа, слепая рыба из глубин...

Вынырнет Петя из этих глубин.

Сам в свое время — появится.

...Жасмин у мечети. Нева.

Друзей моих лица далекие.

И судьбы их — пусть и нелегкие.

Но стойкая вера — жива...

Как-то предложил мне Довлатов почитать стихи в мастерской его приятеля-художника.

Я почувствовал, что для него это важно, что он хочет разобраться в своих ощущениях, попробовать глубже постичь совершенно новый, непривычный для него строй.

Сергей находился тогда под сильным воздействием стихов Бродского.

Усваивая мои стихи, ему предстояло войти в мир, существующий по другим законам, с иным дыханием и светом.

Летним питерским вечером, в тот его час, когда уже не было в мире жары и мучений, связанных с нею, и только мягкие волны повсеместного и безбрежного, различающегося повсюду, ненавязчивого тепла обволакивали прохожих, и дома, и птиц, и деревья, и уже обозначились признаки темноты, не сплошной, не крошечной, но, скорее, прозрачной, такой, где подспудный присутствует свет и возможность взглянуться в даль остается для всех в округе, полной влаги, и неги, и тяги к не изведанному доселе, чтобы в душах людских пробуждалась то ли горечь, то ли печаль, возвращая им речь, и веру, и надежду, и даже любовь, и какую-то тихую, чистую им даря, от щедрот своих, музыку, чтобы с музыкой этой им стало, может быть, и не легче, но все-таки, хоть на долю мгновения, радостней в этой жизни, отнюдь не праздничной, ощутить себя вдруг живыми, — шел я в одиночестве, поглядывая порою на листок с записанным Довлатовым адресом, по улицам где-то в центре и добрался в итоге до цели —

прошел сквозь арку глыбастого многоэтажного здания прямо в тесный, запущенный двор, свернул, куда полагалось, открыл тяжелую дверь, спустился вниз по ступенькам — и точно в назначенное время оказался в подвальной мастерской, тесноватой, скромной, но уютной, до предела забитой людьми.

Некоторые из них были уже мне знакомы, и я, увидав их, обрадовался тому, что они пришли, большинство же собравшихся здесь видел я в тот вечер впервые.

Все они, без исключения, будто бы сговорившись, кто — с любопытством, кто — с интересом, поглядывали на меня.

Смотрины какие-то, что ли?

Но поскольку подобные сборища были давно мне привычны, то я по давно уже выработанным для себя правилам сохранял — внешне, разумеется, и насколько уж это мне удавалось, порою себя собирая буквально в комок, в некий сгусток упрямой воли, — всю возможную в таких обстоятельствах невозмутимость.

Что там творилось у меня внутри и чего мне все это стоило — никого не касалось.

Интерес к моей персоне был далеко не случайным.

Разнообразные, обильные, непрерывно разрастающиеся в геометрической прогрессии слухи обо мне, столичной звезде, как считали тогда знатоки новейшей нашей поэзии, легенде шестидесятых, как уже тогда говорилось, основателе СМОГа, знаменитом в ту пору и в пределах отечества, и за пределами такового поэте, вдруг нагрянувшем в Питер, живущем здесь весьма долго и вроде бы и не собирающемся, пока что, во всяком случае, отсюда уезжать, чуть ли не поселившемся здесь, и не только широко, с размахом, общающемся с местной публикой, бражничающем с нею, заводящем романы, дружбы, умудряющемся, несмотря на бурное времяпровождение, непостижимым для многих образом еще и работать, писать все новые стихи, много читать, бывать в музеях, изучать архитектуру, причем со знанием дела, профессионально, как и подобает историку искусства, не занудой, не кривлякой, не гордецом, а, наоборот, как все убедились, человеком простым, открытым, внимательным, доброжелательным, без всяких московских штучек и выходов, чего здесь терпеть не могли, видимо, соединяя их с какой-то загульной есенинщиной или чем-нибудь в этом роде, словом, очень уж непохожем на московских подпольных авторов, — и покоряющем по очереди, одну за другой, местные богемные компании, где, помимо людей нормальных, с широкими взглядами, для которых литература, искусство были смыслом их жизни, тем, что превыше всего, предостаточно было сомнительных умников, доморощенных формалистов, классицистов, законченных психов, оголтелых ревнивцев, заносчивых снобов, да и прочих, и всех их не счесть, — всю гуляли по городу.

Немудрено, что многие пришли на меня посмотреть. Понаблюдать. Кто, мол, таков? Чем дышит? Как выглядит? Что из себя представляет?

Ну и послушать, разумеется. Как же тут не послушать? Уж если человек стихи свои читать собирается, да еще и, как утверждают, хорошо их читает, необычно, по-своему, так, что и сравнивать не с кем, — то непременно надо послушать.

Для них одно другому нисколько не мешало.

Любовь к яркому, новому, необычному зрелищу и любовь к поэзии прекрасно уживались в их сознании.

Таково было само тогдашнее, орфическое, — вновь сознательно подчеркну и разрозненным людям нынешнего злополучного как бы времени, или, пусть и так, междувременья, без лица, без сердца, без голоса, без души, без горенья, без имени, без отрады, без песни, без памяти, без любви, без надежды, без веры, еще раз и еще много раз я об этом упрямо напому — вроде бы и лирическое, а на поверку — эпическое, с именем каждого из нас накрепко связанное, и если в корень смотреть — героическое, разумеется, осяянное творчеством время.

Верховодил здесь — Довлатов.

Кому, как не ему, пришлось бы по плечу подобное занятие — нелегкое, надо заметить, да еще и ответственное?

Трудно представить другую кандидатуру. Да и зачем? Всех прочих, если бы таковые имелись, он просто бы затмил.

Он, подчеркнуто приветливо и действительно радостно — так, что я это сразу почувствовал, а первое ощущение, как известно, самое верное, — самым первым из всех, поздоровался со мной, как только я появился в мастерской.

Сразу же, деликатно и одновременно решительно раздвигая своими Геракловыми ручищами в разные стороны разношерстных гостей, — среди которых, помимо тех, кто был помельче него, попадались и в меру крупные, из таких, что, при всем желании, так вот просто с места не сдвинешь, и, однако же, он умудрялся потеснить слегка и таких, — ринулся прямо ко мне.

Стал, представляя некоторых по именам, по фамилиям — такой-то, такой-то, такой-то, — знакомить меня с людьми.

Усадил меня рядом с собой, принялся занимать каким-то совсем простым разговором.

Понизив голос, признался, что ждет не дождется, когда я начну читать стихи.

А публика — это так, традиции, ритуал.

Куда же от нее деваться?

Но публику — тоже уважать следует.

Публика — окружение. Но она же — и аудитория.

Публика — это люди. Все по-своему интересные. Без излишнего разделения на хороших людей и плохих. Потому что в любом человеке, при желании, можно найти и прекрасное, и ужасное, как сказал о принцессе одной в детской книжке своей Сапфир. Но прекрасного — все-таки больше.

Публика — это сила. Уж такая, как есть. Энергия. Человеческая, электрическая сеть — чтоб вдруг загорелся свет.

Ведь она собралась не случайно в мастерской, а вполне сознательно.

Ведь она пришла не на пьянку и не просто на посиделки.

Ведь она, как и сам он, тоже очень хочет услышать стихи.

Именно он, конечно, «позвал народ», ну, не всех, разумеется, только избранных, но и эти избранные, как водится, позвали или привели с собой своих знакомых, и вот сколько питерцев здесь собралось, многовато, но это ведь, если подумать, даже и хорошо, замечательно даже, пусть они послушают стихи, пусть объединит их прежде всего поэзия, — так он мне, потихоньку, в общем гуле, успел объяснить, — и каждому из собравшихся, никого не забыв, он оказывал знаки внимания и заботился о том, чтобы всем здесь было хорошо.

Радушным жестом, ну прямо как заправский организатор вечеров и устроитель пиршеств, призвал он всех к столу.

За столом все никак не могли разместиться по причине тесноты, но никто и не думал расстраиваться, что давно привыкли к тому, что именно так обычно и бывает, и поэтому просто пристроились, кто где, со своими стаканами, в которые тут же всегда имевшиеся в резерве большие специалисты по разливанию различных напитков принялись, ни о ком не забыв, разливать заранее запасенное вино.

Краем глаза Сергей наблюдал за этой процедурой, а потом и сам принялся помогать разливальщикам.

Да при этом еще и, как всегда, остроумно, шутил, и успевал сказать некоторым всякие хорошие слова, и по-доброму им улыбнуться.

Ему явно нравилась роль доброго великана из старой сказки, угощающего заезжих путников в волшебном замке.

Такой великан у всех вызывает обычно симпатию. Ему доверяют. Да что там! Ему охотнейшим образом верят. Потому что с его подачи, с его легкой руки наконец-то начинаются чудеса. Потому что по-детски верить и мечтать о том, что начнутся настоящие чудеса, все хотят, люди так устроены. Потому что чудес не бывает, если их упрямо не ждать.

Что касается замка волшебного — то его вполне заменяла мастерская эта подвальная. Сам подвал был уже необычным. Как-то очень уж был он глубок. Потолки высокие. Стены, уходящие вверх — и там уходящие дальше куда-то, но куда же — никто не знал, да и некогда было с этим разбираться, поскольку стены изгибались влево и вправо, образуя то коридор, то подобие комнатки узкой, то какие-то закутки, то еще что-нибудь, возможно, из четвертого измерения, чему не было определения, но его присутствие всеми ощущалось, и это было продолжением волшебства, и устраивало собравшихся, даже больше, всех разом настраивало на особый лад, на особе восприятие происходящего, потому что сказка есть сказка, и участвовать в ней приятно, да еще если будет в ней песня, ну а с песней и жизнь хороша.

Скромные выпивка и закуска, по традиции того времени, предваряли предстоящее чтение, но вовсе не превращали серьезное мероприятие в балаган.

Сережина любовь к людям сказала и в том, что он не пожелал быть единоличником при слушании стихов, а взял да и сделал подарок для своих товарищей.

Маленький, ручной обезьянкой примостившийся в уголке, поэт Уфлянд и громадный, ростом под потолок, Довлатов, оба известные острословы, забавно смотрелись рядом, и оба были сегодня предупредительно вежливыми, деликатно сдержанными.

Конечно, присутствовали в мастерской и обаятельные петербургские дамы, действительно — «европейки нежные».

И вот после ритуальных скромных возлияний, когда народ настроился на нужную волну и уже испытывал явный подъем духа, настало время для чтения.

Сергей церемонно, даже несколько торжественно, попросил меня начинать.

Все, как сразу же, из общих восклицаний, выяснилось, давно уже только этого и ждали.

И вновь, как и сотни, и тысячи раз в те блаженные, бурные, славные, сокровенные, давние годы, был я в самом в центре внимания, в центре плотного круга людского.

Надо было — работать.

Надо было — читать.

Читал я в тот вечер много — на этом Довлатов настаивал.

Читал — не с листа, а по памяти, что в голову приходило.

Читал — словно пел, и чувствовал, что эти стихи, звучащие сейчас, ко мне приходящие по странному, интуитивному, необъяснимому выбору, в случайности всей не случайному, поскольку лишь по наитию угадываешь вернейшее, и это наитие сыздавна созвучно живому чутью, как будто бы здесь, в движении, в процессе чтения-пения, как в трансе, где сплошь откровения, и тайны, и строй, и свет золотой, я сызнова создаю.

Слушать тогда, следует заметить, умели замечательно.

Не единожды в книге своей об умении этом говорю я, сознательно, потому что в умении этом было прежде всего внимание, редкость в нынешние времена, а за ним начиналось, по-своему у каждого, и понимание, что и вовсе уж драгоценно для поэта, и все это — было, и поэтому вспомнить сейчас о таком и приятно, и радостно, и, конечно же, грустно, — мне, выжившему, хоть и чудом, но уцелевшему в годы прежние, немолодому, посреди междувременья нынешнего, в одиночестве долгом своем.

После чтения, когда вдосталь наслушавшиеся стихов и потому находящиеся под свежим от них впечатлением, частично переговаривающиеся между собой, обсуждая услышанное, частично впавшие вдруг в состояние светлой задумчивости, молчаливо глядящие перед собой то ли в глубь, то ли в даль, им открывшуюся, и оттого заторможенные в каждом жесте своем и шаге многочисленные гости, поодиночке и стайками, наконец разошлись, и в опустевшей мастерской стало тихо, и можно было мне отдышаться, прийти в себя, успокоиться, закурить, возвратиться в реальность вечера, летнего, петербургского, позднего, почти уж на грани теплой, надвигавшейся исподволь ночи, и остались рядом со мною лишь хозяин-художник, бородатый, как и положено, да еще торжественно-благостный, умиленно-довольный Довлатов, — услышал я от Сергея взволнованные и важные для меня слова о моих стихах и понял: мой поэтический мир стал ему открываться.

Прозу свою он мне не показывал. Все отнекивался, отмахивался. Рановато, мол. Все — в работе. Все отшучивался. Улыбался — и отмалчивался. Бормотал: как-нибудь потом, подождем.

Говорил, что это лишь подступы к тому, что вскоре он сделает. Зато с превеликой охотой, в любое время и в любых условиях, прямо на улице или в чьей-нибудь квартире, на людях или мне одному, всегда на подъеме, всегда в настроении, блистательно, артистично рассказывал всякие истории.

Годы спустя узнавал я некоторые из них на страницах изданных, в восьмидесятых — на Западе, в девяностых — уже на родине, широко, повсюду читаемых, раскупаемых, издаваемых непрерывно, любимых многими, первоклассных довлатовских книг.

Наверное, шел у него в начале семидесятых процесс накопления. Дело это настолько индивидуальное для каждого писателя, что лучше всего сюда никому не вторгаться.

Материала было у него с избытком. И материал этот непрерывно разрастался, потому что сама действительность щедрыми пригоршнями дарила его Сергею.

Но все это должно было отстояться, кое-что — отсеяться, наиболее важное и значительное — остаться.

Все должно было уравновеситься, по-особому, так, чтобы он услышал наконец отчетливо камертонный, первоначальный, чистый, верный, важнейший звук, за которым возникнет и слово, чтобы он осознал этот звук, за которым вспыхнет и свет, созидательный, творческий, ясный, вьявь открытый ему не в сумятице, а в гармонии, чтоб однажды стал он просто самим собою, чтобы время речи пришло.

Пока что — ему просто нравилось находиться в этом густом замесе, быть внутри этого материала.

Он уже начинал подниматься над ним, и сверкала порой в его монологе оперенная, как меткая стрела, фраза, звучало точное, лаконичное определение, — и тогда, сам осознавая это и радуясь этому «попаданию в яблочко», на ходу менял он ритмический рисунок повествования, и речь вдруг обретала трепетное свечение, и возникало ощущение готовой прозы, которую остается только записать.

Но с этим записыванием он пока что медлил.

И просто жил, широко, безоглядно, щедро, жил, всегда импульсивно, творчески, совсем не бестолково, а как раз с толком, умно, правильно, именно так, как и надо было тогда ему, всем существом своим готовясь к будущему рывку.

Органичный в каждом своем поступке, движении, слове, таким же органичным Довлатов стал со временем и в прозе своей.

В ней воплотилась прежде всего страстная убежденность Иннокентия Анненского в небывалой силе именно будничного слова.

В ней удивительным образом ожило выраженное, просто, конкретно, точно, в диапазоне от крохотной, мгновенно узнаваемой детали, то широкого, свободного, тяготеющего к особому рода, вовсе не монументальной, но, скорее, камерной какой-то, очень человеческой, по-человечески же и знающей меру, без переборков, довлатовской, личной, только его, и ничьей другой, состоящей из множества сцен и историй, цельной, внутренне собранной эпике, — наше, прежнее, сложное время — и воздушный мост от него перекинулся к будущему, в котором эпоху былую, время прежнее наше, станут, ему изумляясь, когда-нибудь, непременно, вновь для себя открывать.

В ней соединились и сохранились для грядущих времен звучание и свет отшумевшей эпохи, колорит ее, черты ее, порой неприглядные, бред ее и безумье, отчаянье, грусть, благородство и еще, что всего важнее, — речь ее, без прикрас, вся, как есть.

С маленькой, забавной, лохматенькой собачкой Глашей на длинном поводке выходил Довлатов во двор: типично питерский, весьма унылый, ничем не примечательный, со всех сторон сплошные стены, да и только, мусорные баки, кривые водосточные трубы, щербатый асфальт, непрменная музыка в чем-нибудь приоткрытом окне, голуби да воробьи, вот и все, да надписи мелом хулиганские, да жильцы, выходящие из подъездов или в них заходящие, лужи непросохшие, неба клочок высоко вверху, и на нем сероватые облака, — незаметно оказывался на улице, в гомоне, в шуме всегдашнем ее, в разношерстной, всегда оживленной, бестолковой летней толпе, в толчее людской, в кутерьме, там, где солнца было побольше, пыла, жара, незнамо чего, там, где весело было идти и смотреть, просто так, между прочим, на движение дня, на лица, на витрины и на дома, — и вот уже встречал знакомого, и получалось это без всякой предварительной договоренности, случайно, само собой, а там, заприметив его издали, подходили еще знакомые, и общение шло во все возрастающем темпе.

Поэт Олег Охапкин, довлатовский приятель, возникал из людской толчеи столь стремительно и неожиданно, что его появление смело можно было считать фантастическим, но оно тем не менее было еще и реальным, и бросался прямо к Довлатову, словно ища в нем не просто участия, но, скорее всего, спасения для себя, — и, руками взмахивая и моргая глазами растерянно, придвигался к нему поближе, все вздыхая, и озадаченно говорил ему, что вот написал поэму, вернее, почти написал, но не дописал, и остановился, и не поймет никак, хорошо это или не очень хорошо, и надо бы, чтобы Сережа послушал, — и тут же Охапкин открывал пухлый, вместительный портфель, в который запросто мог поместиться целый ящик пивных бутылок, и доставал оттуда внушительного вида рукопись, и глуховатым голосом, несколько монотонно, да все-таки с выражением, вполне поэтически, читал длинный-предлинный текст, очередные свои пятистопные ямбы, и Сергей терпеливо и участливо это выслушивал и говорил что-нибудь толковое, настраивающее на продолжение работы.

Охапкин сиял и кивал на витрину гастронома:

— Может, выпьем?

Сергей пожимал плечами:

— Почему бы и нет?

Присоединился еще кто-нибудь, из той же ленинградской среды.

Общение продолжалось на фоне тусклых, отражающих вначале солнечные лучи, а потом и вечерние огни городских витрин, автоматов с газированной водой, хлопающих дверьми парадных, овощных ларьков, поливальных машин, пыльных облезлых решеток в скверах, лепных кариатид, арок, смыкающихся стен — и, наконец, двора, откуда все началось.

Домой Сергей возвращался поздно. А когда же было ему возвращаться, если за день столько происходило событий, в которых он, разумеется, принимал живейшее участие? Только вечером. А то и ночью. Так уж получалось.

Квартира его, где, как и в грядущей его прозе, не было ничего лишнего, где примиралась с бурной жизнью ленинградского великана, любя его, семья — чудесная и поразительно терпеливая жена Лена, маленькая дочка и мать, почему-то всегда представлялась мне лишь временным его пристанищем.

Отъезд Бродского в эмиграцию Сергей переживал болезненно. Принимал вынужденное расставание со старым приятелем близко к сердцу. Кстати и некстати, при любом случае все вспоминал его. Вполне вероятно, что тогда ощущал он острейшую нехватку некоей важной, питательной для него энергии, которая передавалась ему, приходила к нему из стихов Бродского, помогала ему не только существовать, но и работать. Да, так бывает. Существует ведь между некоторыми давно знакомыми людьми, особенно творческими, духовная, не вполне объяснимая, но несомненная связь.

Стихи Бродского Сергей не просто любил. Он давно уже сжился с ними. Стали они частью и его жизни. Куда ему было от них деваться? Невозможно было их от себя ему оторвать. К тому же, как я заметил, существовать с ними было ему как-то спокойнее, привычнее, — ага, мол, есть они, есть, ну, значит, и все в порядке, и мир на месте, и город, и речь.

По-человечески он Иосифа, конечно же, уважал. Было за что. И прежде всего — за то, что помог он стихами своими Сергею в его становлении.

Однако, высоко оценивая, почитая, уважая, переделать себя не мог — и с большой охотой рассказывал о нем забавные истории.

Ну вот хотя бы такую.

Однажды Бродский, не застав Сергея дома, решил его дождаться. Довлатова все не было.

Томясь ожиданием и поглядывая на часы, Иосиф, непонятно почему, вдруг принялся рассказывать Сережиной маме об американском джазе.

Он говорил со знанием предмета — и незаметно увлекся. Певцов и музыкантов, горячо любимых им знаменитых джазменов, изображал он в лицах.

Одну за другой, вполголоса, а потом все громче и громче, напевал он мелодии, от которых приходил в возбуждение.

Подражал он звучанию инструментов.

Барабанил по столу, наглядно разъясняя разницу в ритмах.

Прошел час, другой, третий.

А с ними отзвучала, в исполнении Бродского, музыка эпохи регтайма, отыграли золотые трубы диксиленда, вереницей прошли великие темы двадцатых и тридцатых годов.

На четвертом часу, когда Бродский добрался наконец до сороковых годов и давал Сережиной маме, забывшей обо всем на свете и слушающей Иосифа заворуженно, восторженно, с широко раскрытыми глазами поскольку все это было для нее полнейшим откровением, краткую характеристику оркестра Глена Миллера, появился Довлатов.

Он вошел в квартиру так тихо, что пребывающий во власти завораживающих ритмов, трубящий на всю катушку, давая понятие о раскованном, чистом звуке труб и корнетов, или же показывающий, как звучат они под сурдинку, подвывающий саксофонами, повизгивающий кларнетами, приглушенно мяукающий тромбонами, рокочущий контрабасом, грохочущий ударными, разливающийся в синкопах и трелях

фортепьянными виртуозными проигрышами Бродский его появления поначалу даже не заметил.

Сергей встал в прихожей и оттуда, из-за приоткрытой в комнату двери, с удовольствием наблюдал и слушал приятеля.

Не только вошедший в раж, но и, судя по всему, впавший в натуральный транс, Бродский наконец заметил Довлатова — и прервал лекцию.

Дело, с которым он пришел к Сергею, заняло ровно три с половиной минуты — в противовес трем с половиной часам подробнейшей лекции о джазе.

Потом, откланявшись, поэт удалился.

Сережина мама огорченно вздыхала: ну что бы сыну прийти попозже? Не дал дослушать!

С тех пор история джаза, в аккурат до эпохи свинга, навсегда осталась в маминой памяти...

Такая вот, типично довлатовская, байка.

А сколько их было!

И сколько их прижилось позже в его прозе!

Некоторые из них я хорошо помню — и мог бы при желании рассказать их, тем более сам Сергей, насколько мне известно, в сочинениях своих так их и не использовал.

Но не все ведь выкладывать сразу. Незачем перебарщивать.

Может быть, и расскажу их. Но скорее всего — потом.

Жаркое лето незаметно миновало, и куда она подевалась, измотавшая всех жарюща, как-то никто из нас и не заметил, нет ее больше — и ладно, нет ее — и хорошо, и слава богу, что так, и мало ли что еще будет, и лучше жить прожитым днем, пережитым, по Тютчеву, и лучше попросту радоваться жизни, такой, какая дарована всем была, — и уже тянулась дождливая, появившаяся откуда-то из неведомых далей, из призрачных, даже, может быть, зазеркальных областей или стран, оттуда, где уже луна, а не солнце будет в окнах вставать закрытых, леденя за тусклыми стеклами, ленинградская, серо-жемчужная, лиловатая, смутная, в дымке то ли моря, то ли костров, с драгоценностями листвы, полыхнувшими в полумраке, с непогодой повсеместной, полновластная, вся из влаги, из печали, в сплошных туманах, с тихой болью, с разлукой новой, с вопрошением и прощением, с вечной тайной своею, осень, а я все никак не мог уехать в Москву.

Скитания мои брезжили впереди. Только брезжили. Едва угадывались. Если бы я только знал тогда, сколько же их будет у меня в семидесятых!

Чувствуя это, я не спешил расставаться с Питером, ставшим для меня почти домашним, со старыми и новыми друзьями.

Я записывал стихи — и ощущал возникающую в них новую, более сложную, чем ранее, музыку, новый лад, новую полифонию, — и знал, уже твердо знал, что это будет необычная, особенная для меня, большая книга.

Однажды, случайно встретившись со мной где-то в стороне от центра, Довлатов с высоты исполинского роста простер ручищу к пасмурному небу, широко улыбнулся, сверкнул на меня жгучими глазами — и с утрированно-театральным пафосом не очень удачно сострил:

— Алейников навис над нами, как черная туча!

Я тронул свою отросшую за месяцы питерской жизни бороду и уточнил:

— Рыжая, а не черная!

Сергей засмеялся, шутливо склонил коротко стриженную голову и охотно принял поправку.

Мы неторопливо шли под дождем.

Очертания деревьев туманились, расплывались, двоились, и листья на их мокрых ветвях то неожиданно вспыхивали все еще яркой желтизной, то тускнели, темнели, отдавая ржавью, набрякшею охрой, и срывались вниз иногда, и падали на асфальт, но не хрустели у нас под ногами, а просто лежали нелепыми комьями, или плавали и тонули в серых лужицах, или попадали на дорогу, и прилипали там к колесам проезжающих машин, и уносились, катились вместе с ними в пространство, — и это была осень, уже осень, безусловно, самая настоящая осень, — и что будет где-то за нею, впереди, — да кто его знает! — никто не скажет, никто из людей, — потому и осень, что она — загадка сплошная, что за нею тайна встает, а за тайной — судьбы людские, в их владения — никто не вхож.

Замедлив шаг, Сергей вдруг попросил у меня разрешения записать мой адрес и телефон:

— Может быть, скоро окажусь в Москве...

Неясная тревога глухо прозвучала в голосе его.

Грусть и усталость читались в его напряженно глядящих на желтеющие кроны деревьев, на мгlistую улицу, точно набухших беспокойной мыслью, воспаленных, бессонных глазах.

И я почувствовал, что весь он сейчас — в преддверии новой для него полосы в жизни. Я продиктовал ему свои координаты.

Сергей аккуратно положил записную книжку во внутренний карман куртки — и тепло попрощался со мною.

Ветер дунул ему вслед — и затих.

Дождь усилился — и под его отвесно бьющими струями высокая довлатовская фигура исчезла за поворотом...

Рыжеволосая девушка в светлом плаще шла мне навстречу. Она несла плетеную корзинку с яблоками.

Одно яблоко выпало из корзинки и покатилося по мокрому от дождя асфальту.

Я поднял этот вобравший в себя солнечное тепло живой кусочек минувшего лета, словно отнял его у осени, — и отдал девушке.

Она улыбнулась, приостановилась, хорошенько вытерла чистым воздушным платочком румяный плод — и протянула мне его на узкой ладони:

— Ешьте!

Тоже улыбнувшись, я вежливо поблагодарил девушку — и с хрустом надкусил яблоко.

Пора, пора мне было уезжать из Ленинграда.

Иногда я сам уже не понимал — где, в каком измерении я живу.

В монотонную, влажную музыку осени вечерами вторгался дальний, различимый в тумане за окнами, возрастающий гул.

Возможно, это был зов пространства.

Магнетический город упорствовал, не желая меня отпускать. Дошло до того, что неожиданно ко мне пожаловала внушительная делегация петербуржцев с необычной просьбой — остаться здесь жить.

Никого из этих людей уже нет на свете. И поэтому по прошествии долгих лет можно, пожалуй, сказать, кто это был.

Сереза Довлатов, серьезный, изысканно-вежливый, подчеркнуто-внимательный ко мне, подыскивавший нужные слова неторопливо, словно взвешивавший их на каких-то своих, таинственных, невидимых для остальных, но очень точных весах, говоривший — глядя прямо в глаза мне, жестикулировавший — в меру, державшийся несколько торжественно, что, судя по всему, считал он в данном случае необходимым для себя.

Витя Кривулин, опиравшийся на свою тяжелую палку, посверкивавший темными зрачками, внутренне взвинченный, но внешне вроде бы сдержанный, и от этой двойственности и несовместимости таких состояний то нервически закуривавший сигарету и жадно затягивавшийся белесовато-сизым дымом, то почему-то гасивший ее и тут же достававший уже другую из наполовину пустой пачки, слова произносивший как-то через силу, вынужденно, будто смирившийся с их неизбежностью, пусть и ревниво, с надутыми губами, этот обиженно, да куда, мол, теперь деваться, если так вот решили все, и приходится быть со всеми, заодно, иначе нельзя, ситуация нынче такая, никуда от нее не денешься, остается только терпеть, но еще и активно участвовать в том, что всеми задумано было.

Саша Арефьев, невысокий, коренастый, этакий крепыш, напоминавший мне всегда татлиновского матроса, возбужденный, седоголовый, говоривший достаточно веско, на высоких тонах, убеждая, призывая его понять, старше всех пришедших по возрасту, с горьким опытом лет минувших, с их наркотиками, со всяческими, на авось, будь что будет, а там поглядим, с аптечными зельями сумасшедшими экспериментами, но восставший из этого бреда, от природы здоровый, искренний и в порывах своих, и в словах, человек, называемый всеми петербуржцами просто — Орех.

Кари Унксова, вся, как луна где-то в Азии, вроде бы бледная, но присмотришься — вроде и смуглая, взгляды темные из-под бровей, полудугами плавно выгнутых, прямо вдаль куда-то бросающая, словно ждавшая в мире огня, чтоб согреться, жаром наполниться меж дождей, что, один за другим, шли и шли за окном, и слышалась в этом шуме, и плеске, и шорохе то ли весть о чем-нибудь важном, то ли грусть из волшебной музыки, норовившей стать мукой сплошной, но дававшей надежду на лучшее и привычной давно для души.

Что их объединило тогда, непохожих один на другого, таких поразительно разных — не знаю.

Что-то, видимо, их сплотило, пусть на время, пусть ненадолго, но сплело воедино, свело вместе, — впрочем, зачем гадать?

Что-то было в их общем порыве запредельное, зазеркальное, из таких областей, измерений, параллельных миров, состояний, что возможно лишь в Петербурге, а конкретнее — в день с дождем.

Гости — со мной говорили. Решительно. И серьезно.

Гости — меня убеждали: остаться здесь. Навсегда.

Гости — сулили мне многое. Все, что требуется человеку для нормальной жизни. Упрашивали. Гарантировали, что буду я почитаем здесь и любим. В общем, стану — совсем своим.

Голоса их звучали слаженно в темном царстве дождливого дня, хоть и были несколько странными, вместе с просьбами их, для меня.

Мотивировка была обескураживающе прямой:

— Нам нужен первый поэт.

Деликатно, но твердо я отказался.

Конечно, ко мне там привыкли, всячески выказывали мне свою приязнь.

Но получалось нечто несуразное.

Будто я должен был сменить кого-то, кто удалился от дел, на его месте, на высоком посту, как генсека.

К тому же и город этот, при всех его красотах и достоинствах, был совершенно не мой.

Все, что помогало мне жить, находилось совсем в других краях.

Меня, слава богу, поняли — и расстались мы с делегатами вполне по-дружески.

Желтый лист залетел в раскрытую форточку.

Сизый, машущий крыльями голубь постучался ко мне на рассвете в окно.

И я уехал.

Отдалялась, как сон, от меня петербургская жизнь.

До свидания, други!

До встреч!

Прощайте.

Оттого-то и дружба ясна, что молчание — встречи короче, — не напрасно возрас-тила весна петербургские белые ночи. Сколько песен ни пел я во тьме, никого не ви-нил поневоле, — я скажу предстоящей зиме: «Поищи-ка прощения в поле, не тревожь ты меня, не брани, не забрасывай снегом кромешным, а наследную чашу верни, напои расставанием грешным». Никогда я душой не кривил — а когда распознал бы кривинку, сколько раз бы всерьез норовил извести себя, всем не в новинку. Да и женщинам страсти черта никогда не дается украдкой — в уголке огорченного рта залегает пригрев-шейся складкой. Нет ни дня, ни минуты, ни сна, чтобы зову остыть круговому, — от-того благодарен сполна я вниманию их роковому. Ни за что мне теперь не помочь — но светлее, чем ночи бездонность, пропадает, не сгинувши прочь, несуетная наша бездонность. И склонившись к кому-то на грудь, покидая поспешно столицу, я пойму вашу тайную суть, петербургские светлые лица.

— Над небом голубым есть город золотой...

Алеша Хвостенко, немного под кайфом, обаятельный, похожий на исхудавшего Алена Делона, с гитарой кочующий по городам и домам — и везде поющий чудес-ные свои песенки. «Льет дождем июль...», «Завтра потоп — и ты не спрашивай, что буд-дет потом...», «Нам архангелы пропели...», «Милая моя...» — все это живет и звучит в душе. С гитарой доберешься ты и до Парижа.

Художник Саша Арефьев, совершенно седой, взрывной по темпераменту крепыш в тельняшке, и ты вслед за друзьями стронешься с места, в эмиграцию и в том же Па-риже, притягательном и чужом для тебя, умрешь от великой тоски.

Загадочная Кари Унксова, поэтесса, кто мог подумать тогда, что через несколь-ко лет, накануне отъезда на Запад, так нелепо и страшно погибнешь ты под колесами грузовика.

Ты, Олег Охапкин, поэт, полнокровный, цветущий парень, мог ли представить се-бе, что годы безвременья обернутся для тебя глухими психушками?

Саша Миронов, поэт подлинный, человек ранимый и тонкий, ты ли знал, что впе-реди безысходность и мрак?

Режиссер Володя Бродянский, создатель детского театра в Лодейном Поле, а по-том — руководитель университетского театра в Ленинграде, а потом — питерский двор-

ник, сгребаящий снег на улицах — и излечивший свое сердце купаниями в зимней Неве, думал ли ты, что все бросишь, раздашь имущество — и станешь целителем?

Андрей Битов, под фотографией охотящегося за бабочками Набокова, — сидящий за огромным письменным столом в комнате на Невском.

Теплоглазая Олечка Назарова — и вспыхивающая румянцем Люся Немтинова, эрмитажная сотрудница Эрика Амоскина.

Историк Петя Шушпанов, занесенный в Питер любовью — и ставший поэтом и прозаиком.

Идущий вдоль Фонтанки прозаик Юра Шигашов.

И все, все — из густо замешанной, славной среды...

Петербургскою ночью, где ульями спят не дома, но созданы такие, по лепнине сквозит, где унынье скрепят, да латынью слетит летаргия... И как лезвие смутное где-то на дне, ожидая, что скажут другие, шевельнется во мне от людей в стороне петербургских красот ностальгия.

...В моих набросках о начале семидесятых — и поскольку именно так все само собою сложилось, по наитию, по чутью, по спирали, — о прочих годах, — ничего не будет сказано об осени семьдесят второго и населяющих эту осень, как отдельную державу, моих товарищах.

Что делать, если так уж получается?

О художнике Леве Рыжове, отправившемся в Ленинград по делам, зашедшем в вокзальный ресторан — и проснувшись на рельсах, головой на одном рельсе, а ногами на другом, без денег и вещей, но до Питера все-таки добравшемся — и заявившемся к нам с утра с чайником, наполненным пивом, — о Леве, добрейшем, отзывчивом, несуразном — и столь одаренном, писавшем иконы и фрески.

Об Аркадии Агапкине, поэте, друге, кудрявоголовом, напоминавшем молодого Блока, человеку, бывавшем в сложных ситуациях — и кое-что успевшем повидать в жизни, из того, что называют несладким.

О Володе Пятницком, поразительно талантливом художнике, искавшем озарений в наркотиках.

О Пете Беленке, лепившем для прокорма ровно одного Ленина в год, с закрытыми глазами, на ощупь, чтобы не видеть гипсовой физиономии, а потом, отмучившись с заказом, создававшим свои видения Чернобыля, трагическую хронику о том, что только сбудется позже.

О фотографе Игоре Ноткине, снимавшем всех нас — и создавшем фотолетопись этого времени.

О предводителе московских хиппи Володе Достоевском, ставшем потом переводчиком книг Густава Майринка Владимиром Крюковым.

О Володе Сергиенко, химике, писавшем хорошие стихи, но почему-то закончившем, наверное для пущей важности, еще и Литинститут.

О Вадиме Шалманове, блестящем человеке и верном друге.

О Володе Брагинском, востоковеде, авторе неизданной отличной прозы.

О Вадиме Борисове, человеке для меня особом, историке, диссиденте, жившем тяжело и достойно.

О Саше Величанском, одном из лучших наших поэтов.

И о многих, многих других.

Смотрят они на меня из-за края страницы, ждут.

Я еще расскажу о них.

Отзвук прошлого. Призвук. Знак.

Но еще, пожалуй, и так:

— Беседы с вами я не прерывал, хотя молчал я на людях годами, — но то, что пел, что видел под звездами, — Господь свидетель — я вам отдавал. Столичный бред я с вами разделял и лихолетья кухонные бденья, но, вынесший бездомные раденья, свой дар я никогда не распылял. И выжил я — а что же вы теперь, кого еще в потемках проглядели? — не вы ли привечали, но хотели, чтоб, обогревшись, вышел я за дверь? Уходит дух высокий из Москвы с эпохой в озоновые дыры, уходит век, — в знакомые квартиры приходит быт с ошметками молвы. За что же мне ее благодарить? — не я ли проходил сквозь эти стены? — о нет, все то, что было драгоценно, впиталось в кровь, учило говорить, и речи, и природному чутью дало возможность редкую развиться, — катись, яйцо, — ведь блюдцу не разбиться — разлейся, свет скорбей, по житию.

Так я думаю, так говорю — глядя вдаль или вглубь, сквозь время.

Но бывшее мое — как душа, неизменно со мной.

— Стихии гнев, что двери отпирала, ведущие неведомо куда, зов прошлого, где сердце обмирало, цветущее в те дни, как никогда. Все то, что встарь оно переживало, седеющий, попробуй-ка верни! — знать, вдосталь снов душа перевидала, влекомая пространством искони. И радостей, и горестей немало изведаль я затем, чтоб различить блаженный миг, чье спрятано начало в любви, с которой нас не различить.

Было, было пространство изведано — там, в начале семидесятых.

Ну а после бывало, конечно, — возвращение на Итаку.

— ...Так и живут на московской Итаке...

Вспомнил звук этой вещи — и вспомнил вдруг, как читал я ее, вместе с другими композициями из новой своей книги, той же памятной мне осенью, вечером, в условной своей квартире, с которой мне вскоре придется расстаться, чтобы долгие годы бездомничать, вспомнил вдруг, как читал я, волнуясь и чувствуя сызнова каждое слово, стихи эти свежие, да и другие читал, с глазу на глаз, от сердца к сердцу, приехавшему ко мне столь нежданно и вовремя, в трудную пору, Сереже Довлатову.

Что же там — за чертой, за гранью?

Вы откуда, воспоминанья?

Вод струенье и звезд роенье.

Состоянье души. Горенье.

...Я открыл дверь на раздавшийся звонок.

На пороге стоял Довлатов. Явно — прямо с дороги. Усталый. Нет, скорее — измотанный. Чем? Не расспрашивать же об этом! Несколько растерянный. Все такой же — громадный, глазами сверкающий темными, с какой-то еще не высказанной надеждой глядящий на меня.

Мы обнялись. Обменялись приветствиями. Я пригласил его зайти в квартиру. Он сразу же, с порога, широко шагнул вовнутрь ее, словно, слишком намаявшись, мечтал о крове, о хотя бы относительном, пусть и кратковременном, но все-таки покое. Такие состояния были мне самому хорошо знакомы.

Отдыхавшись, Сергей посвятил меня в некоторые грустные детали своей сложной полосы в жизни.

Я приютил его у себя. Почему же было не приютить хорошего человека, если была такая возможность? Пусть постарается внутренне собраться. Пусть ощутит себя в без-

опасности. Пусть избежит от напряжения всех предыдущих дней. Мало ли что еще может быть впереди? Для поступков — силы нужны. Прежде всего — душевные. Все остальное — потом.

И опять мы, как совсем еще недавно, подолгу с ним говорили о том, что было важным для обоих. Сидели вдвоем, за бутылкой вина, то на кухне, то в комнате и неторопливо, спокойно беседовали. Это напоминало мне отчасти наши прежние беседы с Игорем Ворошиловым.

То обстоятельство, что, покинув Ленинград, Сергей обратился ко мне с просьбой о пристанище, его смущало.

Вежливость его удвоилась, он старался не мешать, быть тихим. Поначалу даже ходил чуть ли не на цыпочках. Пришлось ему сразу же, напрямую, сказать, чтобы он чувствовал здесь себя как дома. Он кивал, обещал, соглашался — и опять норовил быть максимально незаметным.

Но не мог же он, при его-то габаритах, превратиться в невидимку! Я сказал ему, чтобы он прекратил все эти штучки, чтобы вел себя так же естественно, как и всегда. Он спохватился, признал, что действительно перебрал с этим. И не сразу, постепенно, когда освоился здесь, когда привык к дому, стал таким же, как прежде, самим собою, во всем своем блеске. Такому преображению, такому Довлатову был я рад несказанно.

Для меня, успешного к тому времени хлебнуть изрядную дозу житейских неурядиц, было очевидным, что привело его ко мне прежде всего доверие.

Мы прекрасно уживались в однокомнатной квартире. Друг другу совершенно не мешали. Наоборот, вместе проводить дни было куда веселее. Вначале я сознательно, чтобы Сергей отдохнул, не приглашал к себе никого из знакомых. Позже, помаленьку, стали к нам наведываться и московские гости.

Совершенно разные и в привычках своих, и в том, как складывалась у каждого жизнь, как уже высветлялась у каждого за этою жизнью судьба, и, конечно же, в творчестве, были мы оба в ту давнюю пору словно соединены на время духовной нитью, отчетливо ощущали оба незримую связь, и дорожили этим, и понимали, что все это далеко не случайно, что мы оба, каждый по-своему, оказались в пограничных ситуациях, каждый — на своей грани, и лучше всего нам пока что держаться, ну прямо как на войне, одной, пусть и состоящей всего-то из нас двоих, но все же — командой.

Более того, оба мы находились будто на распутье, обоим следовало что-то решать в своей личной жизни, делать свой собственный выбор, готовиться к дальнейшим подвигам, и вместе преодолевать трудности было вроде бы легче.

Потом, оставив ему ключ и скромные запасы провизии, которых на первое время вполне должно было хватить, я быстро собрался и куда-то уехал.

Надо было дать ему возможность побыть одному, в тишине, успокоиться и прийти в себя, и еще, на что сам он очень надеялся, если удастся, то и поработать.

Вдосталь было встреч, вдосталь и событий. Всяких историй — и забавных, и грустных. И даже приключений. Когда-нибудь, полагаю, придется мне поведать об этом.

Впереди у Сергея была жизнь в Пушкинском заповеднике, в Таллине, измотавшая его жизнь в Ленинграде — и, наконец, эмиграция.

Там началась жизнь его удивительной прозы.

О трагической смерти Довлатова думать мне горько и тяжело.

Вижу, как хочет Сергей что-то рассказать, настраивается, находит верный тон.

Слышу знакомое:

— Однажды...

Однажды будет вечность.

Горенье. Стать ему — костром?

Тогда же, в семьдесят втором:

— Немало мне выпало ныне дождя, и огня, и недуга. Смиренье не чуждо гордыне. Горенье — прости мне, подруга. Дражайшее помощи просит, навесом шурша тополинным, прошедшее время уносит кружением неопалимым. Внемли невесомому в мире, недолгому солнцу засмейся, безропотной радуйся шири, сощурься и просто согрейся. Из нового ринемся круга, поверим забытым поэтам, прельстимся преддверием юга, хоть дело, конечно, не в этом. Как будто и вправду крылаты посланцы невидимой сметы, где отсветы наспех примяты, отринуты напрочь приметы. Как будто, подвластны причудам, невинным гордятся примером стремленья магнитного к рудам, служенья навивным химерам. Где замкнутым шагом открытъя уже не желают собраться, но жалуют даже событья — а молодость жаждет остаться.

Скажи мне теперь, музыкантша, не трогая клавиш перстами, — ну что тебе чуть бы пораньше со мной поменяться местами? Ну что тебе чуть поохрипнуть, мелодию петь отказаться, мелькнувшее лето окликнуть, без голоса вдруг оказаться? Ну что тебе, тихий, как тополь, король скрипачей и прощений, разбрасывать редкую опаль по нотам немых обольщений? Ну что пощадить тебе стоит творимое Господом чудо, пока сотворенное стонет и воды влечет ниоткуда? Ну что за колонны белеют — неведома, что ли, тоска им? — и мы, заполняя аллеи, ресницы свои опускаем. А кто поклоняется ивам, смежает бесшумные веки? — да это, внимая счастливым, на редкость понятливы реки. И племя младое нежданно к наклонным сбегает ступеням — и листья слетаются рано, пространным разбужены пеньем. И хор нарастает и тонет в безропотной глуби тумана, и голубем розовым стонет, и поздно залечивать раны. И так, возникая, улыбка защитную ищет заминку, как ты отворяла калитку — а это уже не в новинку.

Бывали и мы помоложе, и мы запевали упрямо — и шурили очи в прихожей для нас флорентинские дамы. И мы нисходили на убыль, подобно героям Боккаччо, — так что же кусаю я губы и попросту, кажется, плачу? А ну-ка скажи мне, Алеко, — неужто зима недалеко — и в дебрях повального снега венчальный послышится клекот? И что же горит под ногами, и разве беды не почуют, когда колдовскими кругами цыганское племя кочует? О нет, не за нами погоня, нахлынет безлиственно слава — покуда она не догонит, земля под ладонью шершава. Коль надобно, счеты откинем, доверимся этой товарке — покуда ведь только такими опавшие вспомнятся парки. Томленьем надыхшимся ломким, уйдем к совершенствам астральным, октябрь, не в обиду потомкам, сезоном закрыв театральным, где свернуты без опасений над замками мавров и троллей затертые краской осенней афиши последних гастролей.

Этот жар, не угасший в крови, эта ржавь лихолетья и смуты — наша жизнь, — и к себе призови все, что с нею в родстве почему-то. Соучастье — немалая честь, страданье — нечастое чувство, и когда соберемся — бог весть! — на осколках и свалках искусства? То, что свято, останется жить, станет мифом, обиженно глядя на потомков, чтоб впредь дорожить всем, что пройдено чаянья ради. Будет перечень стыть именной на ветрах неразумных эпохи, где от нашей кручины земной дорогие останутся вздохи, где от нашей любви и беды, от великой печали и силы только в небе найдутся следы, если прошлое все-таки было, если это не сон, не упрек поколениям иным и народам, если труд наш — отнюдь не оброк под извечно родным небосводом.